

«ЧЕЛОВЕКОНАПРАВЛЕННЫЙ ГЕНИЙ»

В течение всей жизни Распутин обращался мыслями к судьбе и творчеству русских классиков. Он оставил множество выношенных, глубоких замечаний о духовном наследии великих писателей. Поводом чаще всего были литературные дискуссии, организованные журналами или газетами, вопросы анкет, предложенных писателю разными изданиями, юбилеи классиков, о которых Распутину хотелось сказать благодарное слово.

В 1983 году Ленинградское отделение издательства «Наука» опубликовало очередной, пятый выпуск сборника «Достоевский. Материалы и исследования». В нем были помещены ответы отечественных и зарубежных писателей на анкету, посвященную классику русской литературы. Среди участников опроса оказался и В.Распутин. Научные сборники, как правило, привлекают внимание специалистов и редко — широкого круга читателей. Думается, многим из них эта публикация осталась неизвестной. Поэтому стоит воспроизвести в нашей книге ответы сибиряка.

Как всегда, Валентин Григорьевич был предельно искренен в рассказе о том, как открывался ему художественный мир великого писателя. На вопросы:

— В каком возрасте и при каких обстоятельствах Вы познакомились с произведениями

Достоевского? Какое впечатление они произвели на Вас при первом знакомстве? — Распутин ответил:

— Знакомство с Достоевским началось у меня, как и у многих, очевидно, людей моего поколения, достаточно поздно — лишь в студенческие годы (я поступил в университет в 1954 г.). Правда, была попытка читать Достоевского еще в школе, но попытка, надо признаться, слабая — потому, во-первых, что школьная программа, как известно, тогда не жаловала Достоевского хотя бы мало-мальским вниманием, а во-вторых, мне, как на грех, попалась и действительно трудная для начала книга, в старом издании, — «Записки из подполья». Помню, я почувствовал духоту, придавленность от непривычной прозы и бросил книгу. Так я ее в буквальном смысле, как «записки из подполья», пожалуй, и воспринял.

В университете я начал с «Преступления и наказания». Читал без самопринуждения, но и без удовольствия. Сказывалась моя тогдашняя неподготовленность к такой литературе, долгое отсутствие среди нас Достоевского, без которого мы сочли себя людьми простого положения и простой сути, признающими вокруг лишь простой, неромантический порядок вещей.

Понимание Достоевского началось у меня позднее. Думаю, что оно не стало полным и до сих пор. Достоевский — это целый мир, настолько сложный, богатый и живой, что открытия и открытия в нем даже для большого исследовательского ума, задавшегося целью расположить этот мир по правилам и законам, будут продолжаться постоянно вместе с продолжением внешней жизни.

Следующий вопрос прозвучал так:

— Оказал ли Достоевский влияние на ваше духовное развитие и на ваше творчество?

— Без сомнения. Особенно в последние десять лет. Вообще, надо сказать, что испытание Достоевским — очень трудное для писателя испытание. Я уверен, что были, есть и будут люди, причем далеко не бесталанные, но обостренно-честные, которые бросают занятия литературой, соотнеся свои творческие и духовные возможности с могучей высшей правдой Достоевского. Он остается самой строгой, взыскующей совестью литературы. Он остается, кроме того, духовной наукой огромного нравственного и общественного действия, наукой, сознательное и серьезное приобщение к которой не проходит бесследно для любого человека, а для писателя тем более.

— Ваше любимое произведение (произведения) Достоевского?

— «Братья Карамазовы».

На очередной вопрос:

— Как вы оцениваете место Достоевского в русской и мировой литературе? — можно было ожидать ответа предсказуемого, а не такого, какой прозвучал из уст писателя «советского», на родине которого еще не так давно к автору «Бесов» официальная критика относилась весьма «специфически»:

— Достоевский стоит не в ряду самых великих имен мировой литературы, впереди или позади кого-то, а над ними, выше их. Это писатель другого горизонта, где ему нет равных. Были и есть таланты блестящие, яркие, сильные, смелые, мудрые и добрые, но не было и нет (и не будет, на мой взгляд) явления в литературе более глубокого, более центрального, необходимого, более человекаправленного и вечного, чем Достоевский. Человеческая мысль дошла в нем, кажется, до предела и заглянула в мир запредельный. Похоже, что кто-то остановил руку великого писателя и не дал ему закончить последний роман, встревожившись его огромной провидческой силой. Это было больше того, что позволено человеку; благодаря Достоевскому человек в миру и без того узнал о себе слишком многое, к чему он, судя по всему, не был готов.

И далее, отвечая на заключительный вопрос «Какие стороны творчества Дос-

товского вы считаете наиболее ценными и важными для нашего времени?» — Распутин не только выразил суть своего необычного для начала восьмидесятих годов размышления, но и поставил смелую точку в предвидении и предостережении:

— Духовность. Главное, основное содержание человеческого бытия, которое, как показало прошедшее после смерти Достоевского столетие, не признает даже самых красивых и удобных подмен и жестоко мстит за них.

«ЛЮБИМОЕ СЛОВО — ПУШКИН...»

Первое любимое имя в синодике литературных учителей для Распутина — это Пушкин. В том, что Валентин Григорьевич тонко чувствовал поэзию, художественное слово, читатель мог убедиться даже по строкам из его собственных произведений. Но прозаик оставил и немало признаний на этот счет.

Однажды составители ежегодника «День поэзии» попросили Валентина Григорьевича ответить на вопрос: что значат для него откровения великих русских лириков? Конечно, это исповеди высоких душ, тайны, открытые искренне и честно. Но само волшебство слов, которыми переданы чувства и мысли, — повторим ли оно? Писатель признался: когда он в детстве слушал стихи, ему почему-то чудилась ласточка в небе. И далее: «...с тех пор много лет я пытаюсь рассмотреть незнакомую мне, высоко над головой парящую птицу, незвонко и внятно выводящую в счастливой истоме свою Песнь Песней. Но не мне дано разглядеть ее: человеческие глаза для этого слишком слабы, а она не в состоянии опуститься ниже своего волшебного горизонта».

С этим благоговейным чувством Валентин Григорьевич относился прежде всего к Пушкину. Предстояло 200-летие поэта. В ельцинской России, пропитанной грязными парами делячества и политиканства, устланной лохмотьями нищеты, творцы новых порядков не хотели и не могли по своей душевной организации как следовало отметить великий юбилей русского гения. Ярким народным праздником как исключение стали торжества на псковской земле, упокоившей Александра Сергеевича. На вечере в драматическом театре областного центра и выступил Распутин.

Можно было и на этот раз убедиться, какие сердечные, согревающие, лучистые слова находит писатель, чтобы вместе с нами признаться в любви к Пушкину:

«Он пронизал своим волшебством каждого из нас, одних больше, других меньше, в зависимости от душевной и сердечной проводимости, даже люди огрубевшие или совсем окаменевшие повторяют как раскаяние его стихи. Он всем что-нибудь да дал. Многие живут с его поэзией в сердце как с вечно прекрасными и неувядающими букетами цветов, многие, не найдя в мире чувств ничего более нежного, повторяют его признания в любви, многие его же словами затем утешаются. Едва ли это преувеличение: у нас не только говорить о любви, но и любить учились у Пушкина, от его нежных слов возжигали свои сердца, от волшебной проникновенности его строк в заповедные глубины напивались дыханием».

Но это одно: высказать от имени миллионов родственные, «домашние» чувства к поэту. А другое — так же вдохновенно и емко открыть учительскую роль гения в воспитании нашей души. И тут речь Распутина отмечена мудростью и точностью:

«Скольких привел он к Отечеству, опалил его сладким дымом, указал на святость вековых камней, натомил милыми пределами!.. Совершенство может все. Сосуд мог иметь и случайные черты. Но напиток в нем, отбродив, производил божественное, то есть превосходящее земное, действие, способное на чудеса. Читатель испытывает радость, преображение, возвышение, а автор продолжает парить,

царить в своем вдохновенном совершенстве. Нравственное превосходство его музыки заключается в самом движении и звучании превосходства, в тончайшем и легчайшем узоре чувств, чего-то даже более тонкого, чем чувства, в прекрасной несказанности говоримого, в «звучах сладких и молитвах». И какое же у чуткого читателя томительное блаженство возникает после них, какое же торжество души!

Читатель по неопытности может и с душой своей сообщаться тайно — Пушкин сумел сделать эти свидания открытыми и радостными, распахнуть в темнице окна, превратить ее в светлицу».

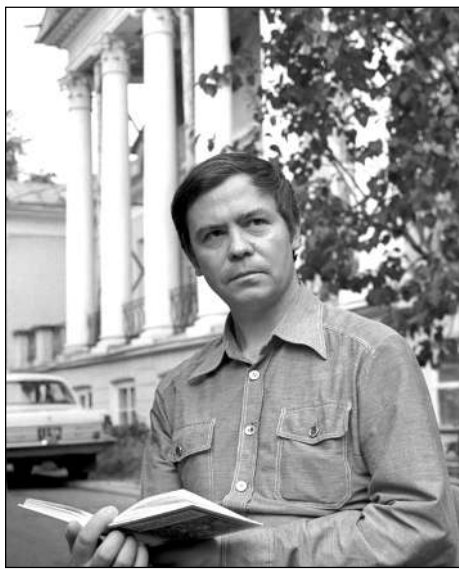
Наконец, такие гении, как Пушкин, всегда провидят будущие пути Отечества. Они дают потомкам верные указатели на дорогу прямую, выверенную вековыми чаяниями, традициями и самим характером народа. Они предупреждают о вешках сторонних, уводящих во тьму и непролазь. Об этом не мог не сказать наш современник: «Пушкин был государственный человек; вслед за Пушкиным все крупные таланты всегда держались того же положения. Верноотеческого, без лукавства и корысти. В пору Пушкина уже принято было в пресытившемся свете, блиставшем талантом злоречия, не любить свое, насмешничать, издеваться... вероятно, тогда это делалось элегантней, чем в наше время, но яд есть яд, и, когда отдаются ему с жаром сердце и таланты, действует он и затыгивающе, и разрушительно...»

Трудно не согласиться с теми, кто полагает, что продлись пушкинская земная жизнь, не покривела бы наша литература на тот глаз, который обращен к родному. Пушкин бы своим обширным умом и огромным авторитетом предупредил, отвел... «Власть и свободу сочетать должно во взаимную пользу», — это его слова из «Путешествия из Москвы в Петербург»...

Как далеко глядел он, сколь многое провидел! И на сегодняшний день, торжественный и тревожный, он оставил нам завещание, относящееся и к себе («Нет, весь я не умру...»), и к событиям, нависшим сегодня над всем миром бешеным и мстительным Злом... Пушкин еще в 1836 году так отозвался о порядке, составленном отборным мировым сбродом в Северной Америке, о порядке, который бомбит сегодня сербов: «С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую подавлено неумолимым эгоизмом и страстию к довольству».

СПАСЕНИЕ — БЫТЬ РУССКИМ

На тот же 1999-й, пушкинский, год и даже на одну и ту же неделю выпал и столетний юбилей Леонида Леонова. Тут власть вообще промолчала: писатель, и всегда-то не сгибающий своей выи, да еще и непреклонно отстаивавший заповедный русский мир от его разрушителей не мог оказаться любезен ей. Валентин Григорьевич напечатал свою статью о Леонове «Имеет силу национального пароля» в периодике, а позже в книгах.



В.Г. Распутин

О первых полтора десятка рассказов Леонида Максимовича, написанных в юности, а затем о романах «Барсуки» и «Вор», опубликованных автором до своего тридцатилетнего возраста, современники отозвались с восторженным изумлением. Художник Илья Остроухов восклицал в письме к Федору Шаляпину: «Гениальный юноша, диво дивное!» Объясняя чудо появления таланта, Распутин находит его истоки в народных глубинах:

«Один человек, одно имя, но какое богатое и обширное может быть прибавление России, какая сразу является опора, какое утешение! На исходе XIX века Россию уже оплакивали, чуткими сердцами ощущалось приближение трагических перемен. Затем войны, одна, вторая и третья, две революции, смещение, злора, самоистребление по идейным соображениям, «ваше слово, товарищ маузер», голод, холод, изгнание русского духа. И нет уже ни Чехова, ни Толстого. Чтобы заступиться, последние славные или уходят в родные могилы, как Блок, или уезжают в чужие земли, как Бунин, Горький, Куприн, Алексей Толстой, Шмелев... Какое уж тут восполнение, какие надежды?! Казалось, литература надолго обречена на прозябание, на мелкое и натужное, даже и не течение, а точение почвы отдельными каплями. Какие уж тут упования на скорое возвращение целого, духовно полного, здорового Россией человека!

Но только-только наступило затишье, все еще в руинах и ранах, только-только в тревожном забытьи сделала истерзанная наша земля вздох, чтобы направить дыхание, и — о, чудо! — этот человек явился! Тот самый: цельный, духовно не изуродованный, наполненный вековечной Русью. Притом явился не из схронки, не из укрытия, где можно побережь себя, а из самого пекла — с фронта. Мало кто верил в него, а он пришел и заявил: вот он я... И понимать это надо было так, что вместе с ним началось возвращение отвергнутой России».

Но как сказать о главном в творчестве великого мастера не затертыми словами и не псевдонаучным языком, понятном только как птичий, едва ли не одним птицам, а вольно, красно и задушевно, как при каком-то особом вдохновении, когда хочешь, чтобы тебя поняли и твою оценку горячо поддержали? Это тайная способность, как и талант поэта или прозаика. И ею Валентин Распутин обладал сполна. Убедитесь:

«Леонид Леонов при сотворении его художником сразу и щедро был вырублен из лучшего куска того материала, из которого кроются немереной силы мастера. Все в нем было просторно, размашисто, могуче и красиво — и письмо, и речь, и взгляды, и суждения, и ум, и сердце, и талант общения, и ненасытный интерес к жизни и знаниям. Все было неповторимо и вкусно. Есть писатели, устроенные тесно, со многими перегородками, как в коммунальной квартире. Сегодня они пишут под одного, способного оказать влияние, завтра — под другого, сегодня проведут одни взгляды, завтра — совсем противоположные, и как бы ни укрывали потом эти метания, называя их этапами творчества, несамостоятельность не спрячешь. Леонов в литературе не квартировал и уж тем более не попрошайничал, он вступил в нее как законный наследник богатого старинного поместья от щедрот матушки Русской земли и отечественной культуры. В нем сразу, и по чертам, и по делам, был узнаваем наследный человек».

Что же наследуют такие художники, как Леонов? В начале своего писательского пути он мог насмотреться «чудес» словесного жонглерства, салонного служения самоназначенных «гениев» литературы, много другого на обочинах искусства. Но он не поддался искусству, потому что чувствовал направляющую руку великих предеч: «Ни Пушкин и Лермонтов, ни Толстой и Тургенев, ни Бунин и Чехов, ни Достоевский и Тютчев — никто из них не сумел бы занять свое почетное место в мировом искусстве и вечности, если бы не отросли они от народного корневца».

«Вот нам, можно не сомневаться, и подтекст «Русского леса», — убежденно продолжил Распутин, — книги мудрой и многоструйной, тревожной и целительной, своего рода охранной грамоты русской жизни. После нее Леонов по праву встал рядом с Тургеневым и Толстым. Усекновения не получилось. «Русский лес — это русские люди», — считал и сам Леонид Максимович, и в этом слишком, казалось бы, простом уподоблении так много верного — от нашей сращенности с родной природой, матерью-природой, говорим мы, давшей нам особые и душу, и веру, и психологию, и характер, от излишней, какой-то древней, эндемичной доверчивости, от которой много страдали и страдаем мы, — от всего этого, произросшего в нас за века, и до вырубок нас как народа то от завоевателей, то от властителей, то от грицианских, ведущих себя в России, как на лесосеке. Но одновременно это уподобление говорит о нашей отличительной цепкости, закреплённости в почве: русский человек может сломаться на выросте, но из земли его не вывернуть. И живем мы столь же настоящим, сколь и отшедшим; когда взялись выдавливать из нас историческую память, укороченным оказался и наш взгляд в будущее, обернувшийся теперешними бедствиями».

Как бывает только тогда, когда перед тобою произведения подлинно национального искусства, книги Леонида Леонова подталкивают к размышлениям о русскости его героев. В этом нет и намек на какую-то избранность или превосходство народа, к которому они принадлежат; в этом только выявление коренных черт нации, которые нужно развивать, на которые нужно опираться в дружеской семье народов. И Распутин ведет разговор именно об этом, не заказанном никакому другому народу, благо, что сочинения нашего классика — очень веские аргументы в такой беседе:

«Русский человек должен быть откровенно русским. В этом его спасение. Уходящий век оказался для нас невероятно тяжелым, вызвавшим и нравственные, и физические, и психические потери. Сначала нас пытались лишить души, затем памяти, самого русского имени, теперь — нажитого предками достоинства. Тем паче не сгибаться, не таиться, не убирать глаз без всяких оговорок. Нет сомнения, что это требование к себе было одним из главных, если не самым главным, с чем прошел Леонид Леонов всю жизнь и что помогало ему оставаться честным человеком и художником. И это был не принцип, не волевое решение, не некое нарочитое украшение достоинства, а образ жизни, органическое поведение национально здорового человека. «Я есмь русский» — пусть эта гордость будет первой и самой ценной наградой, отпущенной природой, которая каждому имени вручила свои индивидуальные черты не для того, чтобы вытеребивать их как перья у пойманной птицы. На склоненную голову хозяин всегда найдет».

«ТОЛСТОЙ ДАЛ МАСШТАБ РУССКОМУ ПИСАТЕЛЮ...»

В 2003 году в Туле на торжествах по случаю 175-летия со дня рождения Льва Николаевича Толстого Распутин произнес речь об этом титане русской литературы. Тут можно было говорить о многом, «растекаясь мыслью по древу»: автор «Войны и мира» позволял толковать о его роли в духовном возвышении не только литературы, но и самого народа. Валентин Григорьевич взял для беседы со слушателями, как всегда, тему стержневую, главную для нынешнего нашего самочувствия: откуда, из каких недр явился гений, кто напитал его великими творческими силами? Подступаясь к ответу, Распутин берет в «соавторы» философа Василия Розанова:

«Вот секрет Толстого. Мы все умничаем над народом, ибо прошли гимназию и университет, ну и владем пером. Толстой один из нас, может быть, один из всей русской литературы, чувствует народ как великого своего Отца, с этой безгранич-

ной к нему покорностью, послушанием, потому особенно и нежным, что оно потихоньку, и будто кто-то ему запрещает. Запрещает, пожалуй, вся русская литература «интеллигентностью» своею, да и вся цивилизация, к которой русский народ «не приобщен».

И далее уже от себя: «Все мы, должно быть, вышли когда-то из мужика. Высокородный Толстой, рожденный графом и прекрасно знавший и описавший высший свет, точно еще в молодости, подготавливаясь к писательской работе, прошел весь свой родовой путь в обратном направлении к его истоку, прошел пешком по крестьянской Руси от графа Толстого и князя Болконского до какого-нибудь мужика Акима и Платона Каратаева, внимая тысячам голосов и тысячам лиц, укладывая в душу зернышки и даже пылинки развееванных истин, все вбирая, что преждевременно отошло, всем, чему нет вины в предстоящей работе, запасаясь, участвуя в военных кампаниях и народных собраниях. Уходил в этот долгий путь в барском платье, а возвращался в Ясную Поляну с батожком и в крестьянской рубахе с пояском. Толстой не рядился под мужика, ему свободнее было в мужицкой одежде и с мужицким лицом.

Вот отчего и оказалось под силу молодому Толстому взять под распашку все огромное поле, называвшееся Россией, во всей населяющей ее толще и во всех проявлениях. Во всей населяющей толще — от крепостного до императора. Теперь мужицкий граф Толстой все это хорошо знал и теперь, спустя полвека после события, уже по остывшим следам вновь провел Россию через Отечественную войну с Наполеоном. Это был подвиг, подобный подвигу Кутузова...»

Толстой указал собственным примером путь для любого художника, святой источник для любого таланта. Размышление Распутина об этом было продолжением и его собственного творчества, и его взгляда на произведения каждой эпохи.

И еще одно в наследии классика отметил наш современник — высоту писательского звания: «Толстой дал масштаб русскому писателю в трагические и горькие периоды русской истории — масштаб, под который затем подходили Достоевский и Шолохов. И если бы нам дозволено было представить, будто многострадальной душе Льва Николаевича дано было выбирать обитель себе в одной из его книг, она бы предпочла, осмеливаемся думать, не какой-нибудь из его коротких нравоучительных шедевров вроде «Чем люди живы» или «Много ли человеку земли нужно», а ее, многострунную величественную «Войну и мир». И слушала бы, слушала неустанно торжественный, в широком разливе рокот волн, из которых строка за строкой мерно и ритмично складывается эта прекрасная сага».